В своё время Анастасия Ивановна Цветаева напутствовала избранные творения нынешней юбилярши такими словами-размышлениями: «Предисловие к книге стихов Марины Тарасовой — трудная задача даже для меня, дожившей до 96 лет. И, надеюсь, разбирающейся в литературе… Дело в том, что каждое из них таит в себе какой-то особый подход к теме, в котором редчайшее сочетание мужского волевого начала и женской способности облекать мысль в неожиданный мир образов, создающих вместе необыкновенное согласие, встречающееся чаще в музыкальном произведении, нежели в поэзии». И далее: «В стихах Марины Тарасовой более всего впечатляет эта почти музыкальная гармония. От неё все качества её поэзии: открытая эмоциональность и бурная темпераментность, полная свобода поэтического дыхания, лёгкость стиха, текучесть всех стиховых форм, умение вывести из какого-нибудь одного слова целый ряд образов, расходящихся от него вширь — как круги по воде от брошенного камня». Итак, камень брошен — рукою великой наследницы Серебряного века, и нам остаётся только пристальней рассмотреть расходящиеся круги.

Редакция «ДиН»

Апокалипсис

Может, новые царства будут бряцать именами,
и не огненный всадник пролетит на безглазом коне,
а пока Апокалипсис каменными когтями
пишет странные знаки на древесной коре.

Не по себе становится от этих знамений,
от сверлящих предчувствий, вселяющих страх,
от трёхпалых особей в человеческом племени
и рогатых лягушек в подмосковных прудах.

Апокалипсис — Евангелие от мутантов,
притча об Интернете и стерильных мозгах;
верно, в страшных снах не привиделся Канту
такой очищенный разум, в колбах и парниках.

Какие у всех заёмные, заполошные лица,
скоро выбьются в люди мошки и мураши.
Чтобы запечатлеть пейзаж с мокрицей,
где, скажите, поставить треножник души?

…К зиме дождливой вполуоборот
(ему бы зонт, но не положен зверю)
стоит мой друг, мой сумчатый Енот,
кого я жду, кому пока что верю.

В бывалой сумке — пламенный флакон,
дешёвый сыр и толстая тетрадка.
Я вижу — нажимает домофон
промокшей лапой в замшевой перчатке.

Зверь, пишущий стихи, — вот это бренд!
Но к нам летит корабль инопланетный.
Кто знает, может, пятый элемент —
в броне и щупальцах поэты…

Бог любит всех, наглядно, без затей,
всех наделяет первозданной силой —
и птиц, и скучных дождевых червей,
безмолвных, никому не милых.

И если кто-то моего дружка
несправедливо назовёт вонючкой,
расправа с ними будет коротка,
достанется врунам и недоучкам.

Туманность Андромеды

Жизнь, как туманность Андромеды,
горит в пределах неземных,
а мы — ничтожные последы
небесных схваток родовых.

Что маршал в звёздах, что профессор
(не помогает чёрный джип)
по бездорожью чешут лесом —
всё морок, всё змеиный шип.

Не слышно щебетанья деток,
вороний грай летит, как дым,
и дверцы вырваны из клеток
суровым ветром городским.

Мы так огромно одиноки
среди зверей, среди людей,
в скупой любви, в дневной мороке
и в смерти маленькой своей.

Но как же ночью всё преобразилось!
И в стёганых штанах стоит сугроб,
не двор понурый — просто Божья милость.
И что ж не петь, не говорить взахлёб

и не скользить по веткам резвой белкой,
не слушая несносный голос тот,
мне шепчущий: не будь секундной стрелкой
и слово «гром» — прочти наоборот?

Баллада об аномальной зоне

Ю. Б.

Мы с тобой — аномальная зона,
там, где выдох, там пламенный вздох,
из глазниц золотого бизона
выпьем влагу ушедших эпох.
Обитаем в расщелине мира…
отдыхает кудрявый Язон;
караваны с планеты Нибиру
источали предательский звон,
чтоб рассечь слитки нашего света —
то ли весть, то ли сладкая месть —
обобрать малолетку-планету
и домой золотишко увезть.
Надо мною огромные шершни
совершают угрюмый полёт,
тянут лапы в космической шерсти
все мутанты родимых болот.
В камышах незаметный кузнечик,
хакер в хаки — он код отыскал,
что ведёт в главный Банк, в Бесконечность,
ну а проще — в Начало Начал!
Да, мы точно с тобой аномалы,
но коллекции нужен засов —
ледяным изваяньям Ямала
и горынычам пермских лесов.
А душа превращается в купол
в ледяных сквозняках декабря,
разрастается в снежную купу
Древа зла и крутого добра.
Шелестящие годы — как травы,
как сводила мне скулы любовь!
Разорённые годы — как травмы,
злая сырость холодных углов…
Не жила по-людски, и в расплате
захлебнётся моя голова.
Всё стучит по стволу серый дятел,
а в анамнезе — только слова.
Будет некому сжечь моё тело,
не считайте чужие грехи!
А в душе только ласточка пела,
а в анамнезе — только стихи.

Тот, кто лежит в земле в крематории,
словно знал и предвидел, где ему лечь,
невозмутимо, как патриций в Претории,
слушает окаменевшую речь.

Каменный глянец — статус Донского кладбища —
придаёт покою его эксклюзив.
Вековая стена и былинность капища,
необъятная Лета вместилась в залив.

А невзрачная церковь ничем не отмечена,
стоит, где дымилось жерло «трубы»;
как же молиться с зажжённой свечкою
там, где спускались в печку гробы?

Всю сирень поломали, и кисти рябиновой
не найдёшь, чтобы птиц покормить из руки.
Так вот к близким придёшь с огоньком георгиновым
посидеть у вечной безмолвной Реки.

Это Лета омывает зелёными волнами
влажный абрис прохладного летнего дня,
чтобы ты ушёл с карманами, полными
лиственной мелочи, капель дождя.

Да, мне этот маленький листик за воротом
дороже всех строчек, обёрнутых в дым,
всей жизни, то раненым волком, то волоком
протащившейся по земным мостовым.

Виртуальная дорога

Путь над землёй — такое наважденье!
И, отправляясь в одинокий рейс,
ты словно бы плывёшь в стихотворенье.
Из плавных слов составлен монорельс,

из чётких строк берёзовых тельняшек,
из чёрных букв, но это монолог,
поэтому из каменных берлог
тебе никто рукою не помашет.

Скорей нырни в дурманящую бездну,
крылом блокнота облаку махни,
и ту печаль, и ту печать отверзи,
какую могут отворить стихи.

Вот пруд Останкинский, над ним церквушка
в оправе леса, лучшей из оков,
круглится куст, как маленькая дужка
твоих привыкших вдаль смотреть очков.

Я не заметила последней остановки,
я над землёй парила, как весна,
в своей джинсовой синенькой спецовке.
Да, монорельс. Но ведь и жизнь одна.

Возвращение

Он ступал по расплавленным травам земли,
на глаза надвигалось скупое пространство,
голубое селенье дышало вдали,
искушая тяжёлым теплом постоянства.

Обожжённая память тянула назад,
чтоб увидеть всё вновь затуманенным оком,
он стремился туда, там подобием врат
белый ад цепенел на холме одиноком.

Там чадила забвеньем любая душа,
но он шёл по земле и не ведал об этом,
он свой путь повторял, задыхаясь, спеша,
омываемый вьющимся утренним светом.

● ● ●

Раскинул залив свой седой малахит,
и ворон прибрежный под чайку коси́т.
Идут старики, сохранившие брак:
тяжёлая шаль и помятый пиджак.
Наверно, есть внуки и пара детей,
торты к дню рожденья и общий о'кей.
А я-то—пустой, бесполезный брелок,
в нагрудном кармане скулит ветерок,
факир, что остался без белой чалмы;
я певчий затёртый, забывший псалмы,
смешной купидон, что, призванье губя,
стрелу запустил ненароком в себя.

● ● ●

Меня, что в этот мир пришла
уключиной непарного весла,
в какой-нибудь необозримой эре,
укутанной звериною мездрой,—
меня найдут, как клинопись в пещере,
когда наступит снова мезозой.
И подо льдом в неповторимом блеске
сверкнёт из мрака первозданный мак.
От волчьей ямы до небесной фрески
один лишь шаг.

Цветок

Цветок стоит на стебле тонком,
и тело слабое цветка
похоже на порожний, звонкий
сосуд, что сделан на века.

Неужто эти лепестки,
его корона золотая,
тычинки те, что так легки,—
лишь эволюция простая?

Нет, он живого часть живая,
и где-то в космосе большом,
в другой галактике, я знаю,
есть человек с таким лицом.

● ● ●

Дорога сквозь время. Дренажные трубы,
очистка Царицынских мутных прудов;
с пригорка глядят, словно чёрные зубы,
останки заборов, поминки трудов.

Но что это там—под разбухшей корягой,
где смотрится в воду покинутый скарб?
В броне чешуи затаился варягом
облепленный илом реликтовый карп.

Сквозь хвост золотая ячейка продета—
о Боже, всё это похоже на сон:
там выбито имя царицы и лето,
когда был заложен дворец Трианон.

Как сладостно время течёт под корягой!
Столетья прессуются в ласковый ил;
под серой бронёй, как под выцветшим флагом,
таился чешуйчатый Мафусаил.

Он всё пережил—мятежи и восстанья,
катанья на тройках, борей и хорей,
Серебряный век и высотные зданья,
все славные битвы, всех русских царей.

Как сладко лежать в своём логове узком
под низким и вечно сырым потолком!
Как будто балладу на старофранцузском
писал он по скользкой коре плавником.

Таким он и был в своём прежнем рожденье—
шкодливым поэтом, лихим школяром.
А кто-то твой век назовёт Возрожденьем,
пока ты за чаркой сидишь с маляром.

● ● ●

…Когда по предсказанию племени майя
остановится линейное время,
мир предстанет в новом обличье,
спрессуются тысячелетья,
и, может быть, Ирод, узнав о газовых камерах,
уже пожалеет младенцев…
Это будет время прозрений,
и я снова нырну в полночную электричку
(рука в руке и одно дыханье),
только б не пролететь полустанок,
где большая черёмуха
запуталась в парашюте соцветий.

● ● ●

Грозди герани,
обезумевшие от солнца,
свесились с тринадцатого этажа,
вытянули долговязые стебли
за оконные рамы.
Неужели возможно
самоубийство цветка?

Памяти Бориса Викторова

Поэт умирает в погожий осенний день,
когда размыкает объятья муза-судьба,
свет струится с небес. И уже ему лень
снять спираль золотой паутины со лба.

Его тянет в дремоту, в угрюмые трюмы строк,
в говорливое облако незаявленных душ,
тянет в птичье гнездо, в развороченный стог,
в голубую воронку наступающих стуж.

Там сверкают стальные подковы уральских лесов,
там с черёмухой плот, вспоминая его, доплывёт.
Разрубается птичий хорал из больших голосов
хлопким выстрелом в лоб, головою об лёд.

Там, в густой синеве над лобастым холмом,
жизнь и смерть прорубают в тетради окно,
эта манит его в опрокинутый дом,
а другая стучит костяным домино.

Заплутаешь в трёх соснах, споткнёшься во мгле
и сорвёшься в стихи, как уходят в запой.
Если трудно ходить по недужной корявой земле,
будет легче летать в синеве золотой.

● ● ●

Лишь птицы говорят на языках минувших,
когда их крылья в капельках росы,
поэтому пернатые их души
похожи на песочные часы.

А мы по-прежнему бряцаем цепью
у нашей скучной книжной конуры;
пчела медовый миф
влюблённо лепит;
заходятся в шаманской песне
комары.

Одно из высших состояний духа—
гудящий праздник, полевой, лесной,
всепоглощающий; но глухо, глухо
в необъяснимой памяти людской.

● ● ●

Третья весна без тебя. Лопухи
накрыли опушку суровой холстиной,
выгнула деку зелёная скрипка ольхи,
вертит своё фуэте стрекоза-балерина.
Как ты любил кувыркать деловитых ежей
и в упоительной стойке таксячьей
птенчика ждать, что на землю падёт из ветвей,
как футболист ждёт рисковой подачи.
Да, кроме леса, в России нет храма
свечку зажечь по твоей изумрудной душе,
чтоб засветилась небесная рама;
ты уже звёздочка в Божьем ковше.

Господи, милый, не дай перелиться
бархату глаз в шелудивого пса,
куст седобровый торчит из теплицы,
падка на сладкое память-оса.

Выбегут скопом из душного мрака,
пнёт костылём предводитель калек,
если на паперть заглянет собака,
друг человечий, чей короток век.

Как же цветущие храмы Эдема?
Люди и звери равны были там;
козлята и волки… но та теорема
чёрствым святошам не по зубам.

Жди меня там, у небесной ограды,
не воплощайся себе на беду.
Где пограничье рая и ада,
жди меня, знай, я прибуду, приду.
Если архангел меня не назначит
певчим пропеть у небесной стрехи,
если не пустят туда за грехи,
знай, я согласна на твой, на собачий
маленький рай,
где поднебесье пронзил иван-чай.